

Корреспондент

Музыкантов было восемь человек. Главе их, Гурию Максиму, было заявлено, что если музыка не будет играть неумолкаемо, то музыканты не увидят ни одной рюмки водки и благодарность за труд получат с великой натяжкой. Танцы начались ровно в восемь часов вечера. В час ночи барышни обиделись на кавалеров; полупьяные кавалеры обиделись на барышень, и танцы расстроились. Гости разделились на труппы. Старички заняли гостиную, в которой стоял стол с сорока четырьмя бутылками и со столькими же тарелками; барышни забились в уголок, зашептали о безобразиях кавалеров и стали решать вопрос: как это так выходит, что невеста с первого же раза начинает говорить на жениха ты? Кавалеры заняли другой угол и заговорили все разом, каждый про свое. Гурий, первая и плохая скрипка и дирижер, заиграл со своими семью черняевский марш... Играл он неумолкаемо и останавливался лишь только тогда, когда хотел выпить водки или подтянуть брюки. Он был сердит: вторая и самая плохая скрипка была донельзя пьяна и чертовски фантазировала, а флейтист ежеминутно ронял на пол флейту, не смотрел в ноты и без причины смеялся. Шум поднялся страшный. С маленького столика попадали бутылки... Кто-то ударил по спине немца Карла Карловича Фюнф... С криком и со смехом выскочило несколько человек с красными физиономиями из спальни; за ними погнался встревоженный лакей. Дьякон Манафуилов, желая блеснуть перед пьяной и почтеннейшей публикой своим остроумием, наступил кошке на хвост и держал ее до тех пор, пока лакей не вырвал из-под его ног охрипшей кошки и не заметил ему, что это одна только глупость. Городской голова вообразил, что у него пропали часы; он страшно перепугался, вспотел и начал браниться, доказывая, что его часы стоят сто рублей. У невесты разболелась голова... В прихожей уронили что-то тяжелое, раздался треск. В гостиной, около бутылок, старички вели себя не по-старчески. Они вспоминали свою молодость и болтали чёрт знает что. Рассказывали анекдоты, прохаживались насчет любовных походов хозяина, острили, хихикали, причем хозяин, видимо довольный, сидел, развалясь на кресле, и говорил: И вы тоже хороши, сукины сыны; знаю я вас хорошо и любашкам вашим не раз презенты подносил... Пробыло два часа. Гурий в седьмой раз заиграл испанскую серенаду. Старички вошли в азарт. Погляди, Егорий! зашамкал один старичок, обращаясь к хозяину и указывая в угол. Что это там за егоза сидит? В углу, возле этажерки с книгами, смиренно, поджав ноги под себя, сидел маленький старичок в темно-зеленом поношенном сюртуке со светлыми

пуговицами и от нечего делать перелистывал какую-то книжку. Хозяин посмотрел в угол, подумал и усмехнулся.

Это, братцы мои, сказал он, газетчик. Нешто вы его не знаете? Великолепный человек! Иван Никитич, обратился он к старичку со светлыми пуговицами, что же ты там сидишь? Подходи сюда!

Иван Никитич восторженно вскрикнул, поднял свои голубые глазки и страшно сконфузился.

Это, господа, сам писатель, журналист! продолжал хозяин. Мы пьем, а они, видите ли, сидят в уголку, по-умному думают да на нас с усмешкой посматривают. Стыдно, брат. Иди выпей грех ведь!

Иван Никитич поднялся, смиренно подошел к столу и налил себе рюмочку водки.

Дай бог вам... пробормотал он, медленно выпивая рюмку, чтоб всё... этак хорошо... обстоятельно.

Закуси, брат! Кушай!

Иван Никитич заморгал глазками и скушал сардинку. Толстяк, с серебряною медалью на шее, подошел к нему сзади и высыпал на его голову горсть соли. Солоней будет, червячки не заведутся! сказал он.

Публика захохотала. Иван Никитич замотал головой и густо покраснел. Да ты не обижайся! сказал толстяк. Зачем обижаться? Это шутка с моей стороны. Чудак ты этакой! Смотри, я и себе насыплю! Толстяк взял со стола соложу и сыпнул себе соли на голову.

И ему, ежели хочешь, насыплю. Чего обижаться? сказал он и посолил хозяйскую голову. Публика захохотала. Иван Никитич тоже улыбнулся и скушал другую сардинку.

Что ж ты, политикан, не пьешь? сказал хозяин. Пей! Давай пить со мной! Нет, со всеми выпьем!

Старички поднялись и окружили стол. Рюмки наполнились коньяком. Иван Никитич кашлянул и осторожно взялся за рюмку.

С меня бы довольно, проговорил он, обращаясь к хозяину. Я уже и так пьян-с. Ну, дай бог вам, Егор Никифорович, чтобы... всё... хорошо и благополучно. Да чего вы все на меня так смотрите? Чудной нешто я человек? Хи-хи-хи-с. Ну, дай бог вам! Егор Никифорович, батюшка, будьте столь достолюбезны и снисходительны, прикажите Гурию, чтоб Григорий барабанить перестал. Замучил совсем, хам. Так барабанит, что в животе бурлит... За ваше здоровье! Пушай барабанит, сказал хозяин. Нешто музыка без барабана может существовать? И того не понимаешь, а еще сочинения сочиняешь. Ну, теперь со мной выпей!

Иван Никитич икнул и засеменил ножками. Хозяин налил два стакана.

Пей, приятель, сказал он, а прятаться не смей. Будешь писать, что у Лва все

пьяны были, так про себя пропишешь. Ну? Желаю здравствовать. Да ну же, умница! Экой ты ведь конфузный какой! Пей!

Иван Никитич кашлянул, высморкнулся и чокнулся с хозяином.

Желаю вам зла-погибели и бед всяческих... избежать! сострил купчик; старший зять хозяина захохотал.

Ура-а-а газетчику! крикнул толстяк, обхватил Ивана Никитича и поднял его на воздух. Подскочили другие старички, и Иван Никитич очутился выше своей головы, на руках, головах и плечах почтеннейшей и пьяной тй интеллигенции. Кач... ка-ча-а-ай! Качай его, шельмеца! Неси егозу! Тащи его, темно-зеленого прохвоста! закричали старички и понесли Ивана Никитича в залу. В зале к старичкам присоединились кавалеры и начали подбрасывать под самый потолок бедного газетчика. Барышни захлопали в ладоши, музыканты замолкли и положили свои инструменты, лакеи, взятые шика ради из клуба, заудивлялись безобразности и преглупо захихикали в свои аристократические кулаки. У Ивана Никитича отскочили от сюртука две пуговицы и развязался ремень. Он пыхтел, кряхтел, пищал, страдал, но... блаженно улыбался. Он ни в каком случае не ожидал такой чести для себя, нолика, как он выражался, между людьми еле видимого и едва заметного...

Гаа-га-га-га! заорал жених и, пьяный как стелька, вцепился в ноги Ивана Никитича. Иван Никитич закачался, выскользнул из рук тй интеллигенции и ухватился за шею толстяка с серебряною медалью.

Убьюсь, забормотал он, убьюсь! Позвольте-с! Чутьочку-с! Вот так-с... Ох, нет, не так-с!

Жених выпустил ноги, и он повис на шее толстяка. Толстяк мотнул головой, и Иван Никитич упал на пол, застонал и с хихиканьем поднялся на ноги. Все хохотали, даже цивилизованные лакеи из нецивилизованного клуба снисходительно морщили носы и улыбались. Лицо Ивана Никитича сильно поморщилось от блаженной улыбки, из влажных голубых глаз его посыпались искорки, а рот покривился набок, причем верхняя губа покривилась направо, а нижняя вытянулась и искривилась налево.

Господа почтенные! заговорил он слабым тенорком, расставя руки и поправляя ремешок, господа почтенные! Дай бог вам всего того, чего вы от бога желаете. Спасибо ему, благодетелю, ему... вот ему, Егору

Никифоровичу... Не пренебрег мелким человечиком. Встретились это мне позавчера в Грязном переулке, да и говорят: Приходи же, Иван Никитич. Смотри же, непременно приходи. Весь город будет, ну и ты, сплетня всероссийская, приходи! Не пренебрегли, дай бог им здоровья. Осчастливили вы меня своею лаской искреннею, не забыли газетчика, старикашку рваного. Спасибо вам. И не забывайте, господа почтенные, нашего брата. Наш брат человек маленький, это действительно, но душа у него не вредная. Не

пренебрегайте, не брезгуйте, он чувствовать будет! Между людьми мы маленькие, бедненькие, а между тем соль мира есмы, и богом для полезности отечественной созданы, и всю вселенную поучаем, добро превозносим, зло человеческое поносим...

Чего мелешь-то? закричал хозяин. Замолол, шут Иванович! Ты речь читай! Речь, речь! заголосили гости.

Речь? Эк-эк-гем. Слушаю-с. Позвольте подумать-с!

Иван Никитич начал думать. Кто-то всучил ему в руки бокал шампанского. Немного подумав, он вытянул шею, поднял вдруг бокал и начал тенорком, обращаясь к Егору Никифоровичу:

Речь моя, милостивые государыни и милостивые государи, будет коротка и длиннотою своею не будет соответствовать настоящему, весьма трогательному для нас событию. Эк-эк-гем. Великий поэт сказал: блажен, кто смолоду был молод! В истине сего я не сомневаюсь и даже полагаю, что не ошибусь, если прибавлю к нему в мыслях еще кое-что и языком воспроизведу следующее обращение к молодым виновникам сего торжества и события: да будут наши молодые молодые не только теперь, когда они по естеству своему физически молоды еще, но и в старости своей, ибо блажен тот, кто смолоду был молод, но в стократ блаженнее тот, кто молодость свою сохранил до самой могилы. Да будут они, виновники настоящего словоблудия моего, в старости своей стары телом, но молоды душою, то есть живопарящим духом. Да не оскудевают до самой доски гробовой идеалы их, в чем истинное блаженство человеков и состоит. Жизнь их обоюдная да сольется во едино чистое, доброе и высокочестное, и да послужит нежно любящая... хи-хи-хи-с... так сказать, октавой для своего мужа, мужа крепкого в мыслях, и да составят они собою сладкозвучную гармонию! Виват, живио и ура-а-а!

Иван Никитич выпил шампанское, стукнул каблуком об пол и победителем посмотрел на окружающих.

Ловко, ловко, Иван Никитич! закричали гости.

Жених подошел, шатаясь, к Ивану Никитичу, попытался расшаркаться, но не расшаркался, чуть не упал, схватил оратора за руку и сказал:

Боку... боку мерси¹. Ваша речь очен-н-но о-чень хороша и не лишена некоторой тен-тенденции.

Иван Никитич подпрыгнул, обнял жениха и поцеловал его в шею. Жених страшно сконфузился и, чтобы скрыть замешательство, начал обнимать тестя. Ловко вы объяснять чувства можете! сказал толстяк с медалью. У вас такая фигура, что... никак не ожидал! Право... извините-с!

Ловко? запищал Иван Никитич. Ловко? Хе-хе-хе. То-то. Сам знаю, что ловко! Огня только мало, ну да где его взять, огня-то этого? Время уж не то, господа почтенные! Прежде, бывало, как скажешь что иль напишешь, так сам в

умилительное состояние души приходишь и удивляешься таланту своему. Эх, было времечко! Выпить бы нужно, фра-дьяволо, за это времечко! Давайте, други, выпьем! Времечко было страсть какое авантажное!

Гости подошли к столу и взяли по рюмке. Иван Никитич преобразился. Он налил себе не рюмку, а стакан.

Выпьем, господа почтенные, продолжал он. Обласкали вы меня, старика, почтите уж и время, в которое я великим человеком был! Славное было времечко! Mesdames, красоточки мои, чокнитесь с аспидом и василиском, который красоте вашей изумляется! Цок! Хе-хе-хе. Амурчики мои. Было время, сакраменто!2 Любил и страдал, побеждал и побеждаем неоднократно был. Ура-а-а!

Было время, продолжал вспотевший и встревоженный Иван Никитич, было время, сударики! И теперь время хорошее, но для нашего брата, газетчика, то время лучше было, по той самой причине, что огня и правды в людях больше было. Прежде что ни писака был, то и богатырь, рыцарь без страха и упрека, мученик, страдалец и правдивый человек. А теперь? Взгляни, русская земля, на пишущих сынов твоих и устыдися! Где вы, истинные писатели, публицисты и другие ратоборцы и труженики на поприще... эк... эк... гем... гласности? Ниг-де!!! Теперь все пишут. Кто хочет, тот и пишет. У кого душа грязнее и чернее сапога моего, у кого сердце не в утробе матери, а в кузнице фабриковалось, у кого правды столько имеется, сколько у меня домов собственных, и тот дерзает теперь ступать на путь славных, путь, принадлежащий пророкам, правдолюбцам да среброненавистникам. Судари вы мои дорогие! Путь этот нонче шире стал, да ходить по нем некому. Где таланты истинные? Поди ищи: ей-богу, не сыщешь!.. Всё ветхо стало да обнищало. Кто из прежних удальцов и молодцов жив остался, и тот теперь обнищал духом да зарапортовался. Прежде гнались за правдой, а нонче пошла погоня за словом красным да за копейкой, чтоб ей пусто было! Дух странный повеял! Горе, друзья мои! И я тоже, окаянный, не устыдился седин своих и тоже стал за красным словом гоняться! Нет, нет, да и норовлю в корреспонденцию что-нибудь этакое вковырнуть. Благодарю господа, творца неба и земли, не корыстолюбив я и от голода не дерзаю писать. Теперь кому кушать хочется, тот и пишет, а пишет что хочет, лишь бы сбоку на правду похоже было. Хотите денежки из редакции получить? Желаете? Ну, коли хотите, то и валяйте, что в нашей Т. такого-то числа землетрясение было да баба Акулина, извините меня, mesdames, бесстыдника, намедни единым махом шестерых ребят родила... Сконфузились, красоточки! Простите великодушно невежду! Доктор сквернословия есмь и в древности по сему предмету неоднократно в трактирах диссертации защищал да на диспутах разнородных прощелыг побеждал. Простите, родные! Ох-хо-хо... так-то, пиши

что хочешь, всё с рук сойдет. Прежде не то было! Мы если и писали ложь, так по тупоумию и глупости своей, а орудием лжи не имели, потому что то, чему работали, святыней почитали и оной поклонялись!

Зачем это вы светлые пуговицы носите? перебил Ивана Никитича какой-то франт с четырьмя хохлами на голове.

Светлые пуговицы? Действительно, что они светлые... По привычке-с... В древности, лет 20 тому назад, я заказал портному сюртучишко; ну, а он, портной-то, по ошибке пришил вместо черных пуговиц светлые. Я и привык к светлым пуговицам, потому что тот сюртучишко лет семь таскал... Ну, так вот-с, сударики мои, как прежде было... Слушают красоточки, голубчики, слушают меня, старикашку, родненькие... Хи-хи-хи-с... Дай бог вам здоровья!

Красавицы мои неземные! Жить бы вам сорок лет тому назад, когда молод был и пламенем огненным сердца зажигать в состоянии был. Рабом был бы, девицы, и на коленях дырки бы себе... Смеются, цветики!.. Ох, вы, мои...

Почтили старца вниманием своим.

Вы теперь пишете что-нибудь? перебила расходившегося Ивана Никитича курносенькая барышня.

Пишу ли? Как не писать? Не зарюю, царица души моя, таланта своего до самой могилы! Пишу! Разве не читали? А кто, позвольте вас спросить, в семьдесят шестом году корреспонденцию в Голосе поместил? Кто? Не читали разве? Славная корреспонденция! В семьдесят седьмом году писал в тот же Голос редакция уважаемой газеты нашла статью мою для печатания неудобной... Хе-хе-хе... Неудобной... Экась!. Статья моя с душком была, знаете ли, с душком некоторым. У нас, пишу, есть патриоты видимые, но темна вода во облацех касательно того, где патриотизм их помещается: в сердцах или карманах? Хе-хе-хе... Душок-с... Далее: Вчера, пишу, была отслужена соборная панихида по под Плевной убиенным. На панихиде присутствовали все начальствующие лица и граждане, за исключением господина исправляющего должность тго полицеймейстера, который блистал своим отсутствием, потому что окончание преферанса нашел для себя более интересным, чем разделение с гражданами общероссийской радости. Не в бровь, а в глаз! Хо-хо-хо! Не поместили! А я уж постарался тогда, друзья мои! В прошедшем, семьдесят девятом, году посылал корреспонденцию в газету ежедневную Русский курьер, в Москве издающуюся. Писал я, други мои, в Москву о школах уезда нашего, и корреспонденция моя была помещена, и теперь я даром Курьера русского получаю. Вона как! Удивляетесь? Гениям удивляйтесь, а не нолям! Нолик есмь! Эхе-хе-х! Пишу редко, господа почтенные, очень редко! Бедна наша Т. событиями, кои бы описать я мог, а ерундистики писать не хочется, самолюбив больно, да и совести своей опасаюсь. Газеты вся Россия читает, а для чего России Т.? Для чего ей мелочами надоедать? Для чего ей знать, что в

нашем трактире мертвое тело нашли? А прежде-то как я писал, прежде-то, во времена оны, во времена... Писал я тогда в Северную пчелу, в Сын отечества, в Московские... Белинского современником был, Булгарина единожды в скобочках ущипнул... Хе-хе-хе... Не верите? Ей-богу! Однажды стихотворение насчет воинственной доблести написал... А что я, други мои, потерпел в то время, так это одному только богу Саваофу известно... Вспоминаю себя тогдашнего и в умиление прихожу. Молодцом и удалцом был! Страдал и мучился за идеи и мысли свои; за поползновение к труду благородному мучения принимал. В сорок шестом году за корреспонденцию, помещенную мною в Московских ведомостях, здешними мещанами так избит был, что три месяца после того в больнице на черных хлебах пролежал. Надо полагать, враг мой дорого мещанам за жестокосердие заплатил: так отдубасили раба божия, что даже и теперь последствия указать могу. А однажды это призывает меня, в 53-м году, городничий здешний, Сысой Петрович... Вы его не помните и радуйтесь, что не помните. Воспоминание о сем человеке есть горчайшее из всех воспоминаний. Призывает он меня и говорит: Что это ты там в Пчеле наклеузничал, а? А как я там наклеузничал? Писал я, знаете ли, просто, что у нас шайка мошенников завелась и притоном своим трактирчик Гуськова имеет... Трактирчика этого теперь и следа уже нет, в 65-м году снят был и место свое бакалейному магазину господина Лубцоватского уступил. В конце корреспонденции я чуточку душка подпустил. Взял да и написал, знаете ли: Не мешало бы, в силу упомянутых причин, полиции обратить внимание на трактир г. Г.. Заорал на меня и затоптал ногами Сысой Петрович: Без тебя не знаю, что ли? Указывать ты мне, морда, станешь? Наставник ты мой, а? Кричал, кричал, да и засадил меня, трепещущего, в холодную. Три дня и три ночи в холодной просидел, Иону с китом припоминая, унижения всяческие претерпевая... Не забыть мне сего до помрачения памяти моей! Ни один клоп, никакая, с позволения, вошка никакое насекомое, еле видимое, не было никогда так унижено, как унизил меня Сысой Петрович, царство ему небесное! А то как отец благочинный, отец Панкратий, коего я юмористически в мыслях своих отцом перочинным называл, где-то по складам прочел про какого-то благочинного и вообразить изволил, что будто это про него написано и будто я по легкомыслию своему написал; а то вовсе не про него было написано и не я написал. Иду я однажды мимо собора, вдруг как свистнет меня кто-то сзади по спине да по затылку палкой, знаете ли; раз свистнет, да в другой раз, да и в третий... Тьфу ты, пропасть, что за комиссия? Оглядываюсь, а это отец Панкратий, духовник мой... Публично!! За что? За какую вину? И это перенес я со смирением... Много терпел я, друзья мои! Стоявший возле именитый купец Грыжев усмехнулся и похлопал по плечу Ивана Никитича.

Пиши, сказал он, пиши! Почему не писать, коли можешь? А в какую газету писать станешь?

В Голос, Иван Петрович!

Прочешь дашь?

Хе-хе-хе... Всенепременно-с.

Увидим, каких делов ты мастер. Ну, а что же ты писать станешь?

А вот если Иван Степанович что-нибудь на прогимназию пожертвуют, то и про них напишу!

Иван Степанович, бритый и совсем не длиннополый купец, усмехнулся и покраснел.

Что ж, напиши! сказал он. Я пожертвую. Отчего не пожертвовать? Тысячу рублей могу...

Нуте?

Могу.

Да нет?

Ну вот еще... Разумеется, могу.

Вы не шутите?... Иван Степанович!

Могу... Только вот что... Ммм... А если я пожертвую, да ты не напишешь?

Как это можно-с? Слово твердо, Иван Степаныч...

Оно-то так... Гм... Ну, а когда же ты напишешь?

Очень скоро-с, даже очень скоро-с... Вы не шутите, Иван Степаныч?

Зачем шутить? Ведь за шутки ты мне денег не заплатишь? Гм... Ну, а если ты не напишешь?

Напишу-с, Иван Степаныч! Побей меня бог, напишу-с!

Иван Степанович наморщил свой большой лоснящийся лоб и начал думать.

Иван Никитич засеменил ножками, заикал и впился своими сияющими глазками в Ивана Степановича.

Вот что, Никита... Никитич... Иван, что ля? Вот что... Я дам... дам две тысячи серебра, и потом, может быть, еще что-нибудь... этакое. Только с таким условием, братец ты мой, чтоб ты взаправду написал...

Да ей-богу же напишу! запищал Иван Никитич.

Ты напиши, да прежде чем посылать в газету дашь мне прочитать, а тогда я и две тысячи выложу, ежели хорошо будет написано...

Слушаю-с... Эк... эк-гем... Слушаю и понимаю, благородный и великодушный человек! Иван Степанович! Будьте столь достолюбезны и снисходительны, не оставьте ваше обещание без последствий, да не будет оно одним только звуком! Иван Степанович! Благодетель! Господа почтенные! Пьяный я человек, но постигаю умом своим! Гуманнейший филантроп! Кланяюсь вам! Потщитесь! Послужите образованию народному, излейте от щедрот своих...

Ох, господи!

Ладно, ладно... Увидишь там...

Иван Никитич вцепился в полу Ивана Степановича.

Великодушнейший! завизжал он. Присоедините длань свою к дланям великих... Подлейте масла в светильник, вселенную озаряющий! Позвольте выпить за ваше здоровье. Выпью, милостивый, выпью! Да здравств...

Иван Никитич закашлялся и выпил рюмку водки. Иван Степанович посмотрел на окружающих, мигнул глазами на Ивана Никитича и вышел из гостиной в залу. Иван Никитич постоял, немного подумал, погладил себя по лысине и чинно прошел, между танцующими, в гостиную.

Оставайтесь здоровы, обратился он к хозяину, расшаркиваясь. Спасибо за ласки, Егор Никифорович! Век не забуду!

Прощай, братец! Заходи и вдругорядь. В магазин заходи, коли время: с молодцами чайку попьешь. На женины именины приходи, коли желаешь, речь скажешь. Ну, прощай, дружок!

Иван Никитич с чувством пожал протянутую руку, низко поклонился гостям и засеменял в прихожую, где, среди множества шуб и шинелей, терялась и его маленькая поношенная шинелька.

На чаек бы с вашего благородия! предложил ему любезно лакей, отыскивая его шинель.

Голубчик ты мой! Мне и самому-то впору на чаек просить, а не токмо что давать...

Вот она, ваша шинель! Это она, ваше полублагородие? Хоть муку сей! В этой самой шинели не по гостям ходить, а в свинюшнике препровождение иметь. Сконфузившись и надевши шинель, Иван Никитич подсучил брюки, вышел из дома тго богача и туза, Егора Лва, и направился, шлепая по грязи, к своей квартире.

Квартировал он на самой главной улице, во флигеле, за который платил шестьдесят рублей в год наследникам какой-то купчихи. Флигель стоял в углу огромнейшего, поросшего репейником, двора и выглядывал из-за деревьев так смиренно, как мог выглядывать... один только Иван Никитич. Он запер на щеколду ворота и, старательно обходя репейник, направился к своему серому флигелю. Откуда-то заворчала и лениво гавкнула на него собака.

Стамеска, Стамеска, это я... свой! пробормотал он. Дверь во флигеле была не заперта. Вычистивши щеточкой сапоги, Иван Никитич отворил дверь и вступил в свое логовище. Крякнув и снявши шинель, он помолился на икону и пошел по своим, освещенным лампадкою, комнатам. Во второй и последней комнате он опять помолился иконе и на цыпочках подошел к кровати. На кровати спала хорошенькая девушка лет 25.

Маничка, начал будить ее Иван Никитич, Маничка!

Ввввв...

Проснись, дочь моя!

А ня... ня... ня... ня...

Маничка, а Маничка! Пробудись от сна!

Кого там? Че... го, а? а?

Проснись, ангел мой! Поднимись, кормилица моя, музыкантша моя... Дочь моя! Маничка!

Манечка повернулась на другой бок и открыла глаза.

Чего вам? спросила она.

Дай мне, дружок, пожалуйста, два листика бумаги!

Ложитесь спать!

Дочь моя, не откажи в просьбе!

Для чего вам?

Корреспонденцию в Голос писать.

Оставьте... Ложитесь спать! Там я вам ужинать оставила!

Друг мой единственный!

Вы пьяны? Прекрасно... Не мешайте спать!

Дай бумаги! Ну что тебе стоит встать и уважить отца? Друг мой! Что же мне, на колена становиться, что ли?

Аааа... чёрррт! Сейчас! Уходите отсюда!

Слушаю.

Иван Никитич сделал два шага назад и спрятал свою голову за ширмы.

Манечка спрыгнула с кровати и плотно укуталась в одеяло.

Шляется! проворчала она. Вот еще наказание-то! Матерь божия, скоро ли это кончится, наконец! Ни днем, ни ночью покоя! Ну, да и бессовестный же вы!..

Дочь, не оскорбляй отца!

Вас никто не оскорбляет! Натё!

Манечка вынула из своего портфеля два листа бумаги и швырнула их на стол.

Мерси, Маничка! Извини, что беспокоил!

Хорошо!

Манечка упала на кровать, укрылась одеялом, съежилась и тотчас же заснула.

Иван Никитич зажег свечу и сел у стола. Немного подумав, он обмакнул перо в чернила, перекрестился и начал писать.

На другой день, в восемь часов утра, Иван Никитич стоял уже у парадных дверей Ивана Степановича и дрожащей рукой дергал за звонок. Дергал он целых десять минут и в эти десять минут чуть не умер от страха за свою смелость.

Чево надоть? Звонишь! спросил его лакей Ивана Степановича, отворяя дверь и протирая фалдой поношенного коричневого сюртука свои заспанные и

распухшие глаза.

Иван Степанович дома?

Барин? А где ему быть-то? А чево надоть?

Вот... я к нему.

Из пошты, что ль? Спит он!

Нет, от себя... Собственно говоря...

Из чиновников?

Нет... но... можно обождать?

Отчего не можно? Можно! Идите в переднюю!

Иван Никитич бочком вошел в переднюю и сел на диван, на котором валялись лакейские лохмотья.

Аукрррмм... Кгмбрррр... Кто там? раздалось в спальне Ивана Степановича.

Сережка! Пошел сюда!

Сережка вскочил и как сумасшедший побежал в хозяйскую спальню, а Иван Никитич испугался и начал застегиваться на все пуговицы.

А? Кто? доносилось до его ушей из спальни. Кого? Языка у тебя, скотины, нету? Как? Из банка? Да говори же! Старик?

У Ивана Никитича застучало в сердце, помутилось в глазах и похолодело в ногах. Приближалась важная минута!

Зови его! слышалось из спальни.

Явился вспотевший Сережка и, держась за ухо, повел Ивана Никитича к Ивану Степановичу. Иван Степанович только что проснулся: он лежал на своей двухспальной кровати и выглядывал из-под ситцевого одеяла. Возле него, под тем же самым одеялом, храпел толстяк с серебряною медалью. Ложась спать, толстяк не нашел нужным раздеться: кончики его сапогов выглядывали из-под одеяла, а серебряная медаль сползла с шеи на подушку. В спальне было и душно, и жарко, и накурено. На полу красовались осколки разбитой лампы, лужа керосина и клочья женской юбки.

Чего тебе? спросил Иван Степанович, глядя в лицо Ивана Никитича и морща лоб.

Извиняюсь за причиненное беспокойство, отчеканил Иван Никитич, вынимая из кармана бумагу. Высокопочтенный Иван Степанович, позвольте...

Да ты, послушай, соловьев не разводи, у меня им есть нечего: говори дело. Чего тебе?

Я вот, с тою целью, чтоб эк... эк-гем почтительнейше преподнести...

Да ты кто таков?

Я-с? Эк... эк... гем... Я-с? Забыли-с? Я корреспондент.

Ты? Ах да. Теперь помню. Зачем же ты?

Корреспонденцию обещанную на прочтение преподнести пожелал...

Уж и написал?

Написал-с.

Чего так скоро?

Скоро-с? Я до самой сей поры писал!

Гм... Да нет, ты... не так... Ты бы подольше пописал. Зачем спешить? Поди, братец, еще попиши.

Иван Степанович! Ни место, ни время стеснить таланта не могут... Хоть год целый дайте мне и то, ей-богу, лучше не напишу!

А ну-ка, дай сюда!

Иван Никитич раскрыл лист и обеими руками поднес его к голове Ивана Степановича.

Иван Степанович взял лист, прищурил глаза и начал читать: У нас, в Т..., ежегодно воздвигается по несколько зданий, для чего выписываются столичные архитекторы, получают из-за границы строительные материалы, затрачиваются громадные капиталы и всё это, надо признаться, с целями меркантильными... Жалко! Жителей у нас 20 тысяч с лишком, Т. существует уже несколько столетий, здания воздвигаются; а нет даже и хижины, в которой могла бы приютиться сила, отрезающая корни, глубоко пускаемые невежеством... Невежество... Что это написано?

Это-с? Horribile dictu...З

А что это значит?..

Бог его знает, что это значит, Иван Степанович! Если пишется что-нибудь нехорошее или ужасное, то возле него и пишется в скобках это выражение. Невежество... Мммм... залегает у нас толстыми слоями и пользуется во всех слоях нашего общества полнейшим правом гражданства. Наконец-таки и на нас повеяло воздухом, которым дышит вся образованная Россия. Месяц тому назад мы получили от г. министра разрешение открыть в нашем городе прогимназию. Разрешение это было встречено у нас с неподдельным восторгом. Нашлись люди, которые не ограничились одним только изъяснением восторга, а пожелали еще также выказать свою любовь и на деле. Наше купечество, никогда не отвечающее отказом на приглашения поддержать денежно какое-либо доброе начинание, и теперь также не кивнуло отрицательно головою... Чёррт! Скоро написал, а как важно! Ай да ты! Ишь! Считаю нужным назвать здесь имена главных жертвователей. Вот их имена: Гурий Петрович Грыжев (2000), Петр Семенович Алебастров (1500), Авив Инокентиевич Потрошилов (1000) и Иван Степанович Трамбонов (2000). Последний обещал... Кто это последний?

Последний-с? Это вы-с!

Так я, по-твоему, значит, последний?

Последний-с... То есть... эк... эк... гем... в смысле...

Так я последний?

Иван Степаныч поднялся и побагровел.

Кто последний? Я?

Вы-с, только в каком смысле?!

В таком смысле, что ты дурак! Понимаешь? Дурак! На тебе твою корреспонденцию!

Ваше высокостеп... Батюшка Иван... Иван...

Так я последний! Ах ты, прыщ ты этакой! Гусь! Из уст Ивана Степановича посыпались роскошные выражения, одно другого непечатнее... Иван Никитич обезумел от страха, упал на стул и завертелся.

Ах ты, сссвинья! Последний?!? Иван Степанов Трамбонов последним никогда не был и не будет! Ты последний! Вон отсюда, чтобы и ноги твоей здесь не было!

Иван Степанович с остервенением скомкал корреспонденцию и швырнул комком в лицо корреспондента газет московских и Санкт-Петербургских...

Иван Никитич покраснел, поднялся и, махая руками, засеменил из спальни.

В передней встретил его Сережка: с глупейшей улыбкой на глупом лице он отворил ему дверь. Очутившись на улице, бледный, как бумага, Иван Никитич побрел по грязи на свою квартиру. Часа через два Иван Степанович, уходя из дома, увидел в передней, на окне, фуражку, забытую Иваном Никитичем.

Чья это шапка? спросил он Сережку.

Да того миздрюшки, что намердны прогнать изволили.

Выбрось ее! Чево ей здесь валяться?

Сережка взял фуражку и, выйдя на улицу, бросил ее в самую жидкую грязь.

Премного благодарен (франц. merci beaucoup).2Клянусь! (итал. sacramento).3Страшно сказать... (лат.).